

АРС
академия
русского стиха

АКАДЕМИЯ
РУССКОГО
СТИХА

Антология / том 1

АРС

Антология / том 1

АРС

АКАДЕМИЯ РУССКОГО СТИХА

БРОНЗОВЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Мировая
АКАДЕМИЯ
РУССКОГО
СТИХА

(Нью-Йорк – Париж – Москва – СПб)
основана в 1993 году
ИОСИФОМ БРОДСКИМ,
СЛАВОЙ ЛЁНОМ,
ВЛАДИМИРОМ УФЛЯНДОМ



АКАДЕМИЯ РУССКОГО СТИХА

Антология / том 1



издательство ВВМ / СПб 2013

БРОНЗОВЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ
(1953 – 1989)

«Его проще было бы назвать *каменным*. Проще и точнее. Ахматова назвала его *догутенберговским*», – писал я в 1978 году во вступлении к альманаху NEUE RUSSISCHE LITERATUR (NRL) – первому и единственному в СССР литературно-художественному альманаху, начавшему выходить в *там-издате*: в Австрии (Зальцбург; университет) – на двух языках (билингва): параллельные тексты на русском и немецком.

Открывался альманах «Малой антологией поэтов БРОНЗОВОГО ВЕКА» – стихами: *поэтов-квалитистов*: Сосноры, Лёна, Хвостенко – Волохонского; *поэтов-концептуалистов*: Сапгира, Холина, Некрасова; *поэтов-традиционалистов*: Горбаневской и Бродского (до его Нобелевской премии оставалось ещё десять лет!), и – великопеленной новинкой Венедикта Ерофеева (1973) – эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». Была в альманахе проза Владимира Кормера, первого лауреата Далевской премии (роман «Крот истории», Париж, 1978), были запрещённые в СССР филологические работы *структуралистов*: Бориса Гаспарова, Александра Жолковского и Михаила Щеглова. Мы, издатели NRL, первыми опубликовали репродукции скульптур *гроб-арта* великого Вадима Сидура – его европейская известность пошла отсюда.

Альманах NRL вводил в культурный обиход концепцию «БРОНЗОВОГО ВЕКА» как сопоставимого по своей исторической значимости, масштабу и мощи с ЗОЛОТЫМ (пушкинско-достоевским) и СЕРЕБРЯНЫМ веками русской культуры. Понятно, что без «молока не бывает сливок»: в послесталинское время было много хорошего в возрождающейся – после коммунистического погрома – русской культуре. Но в нашем обсуждении проблем русской культуры Бронзового века важны именно «сливки»: высшие, мирового уровня её достижения, непреходящее значение которых сегодня признано в России и за рубежом. И в этом аспекте успехи русской культуры двух последних веков: XIX – XX – необходимо признать блистательными. Ничем, кроме «*пассионарности*» великого народа, явление ТРЁХ РЕНЕССАНСОВ в русской культуре объяснить нельзя. Это признание лежит в пространстве позитивной науки, где классик Бронзового века Лев Николаевич Гумилёв построил «*пассионарную теорию этногенеза*». А попросту, по-христиански говоря, эти ТРИ РЕНЕССАНСА есть явление чуда:

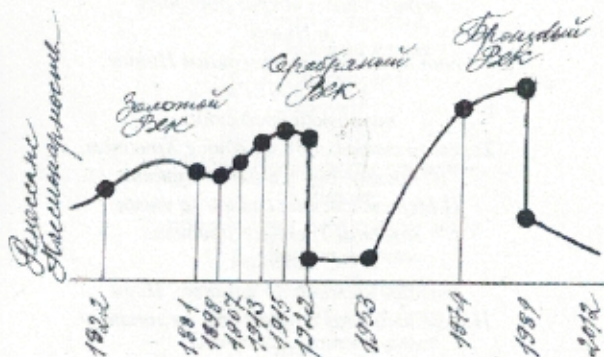


Рис.1. Схема пассионарности русской культуры XIX – XX веков: ТРИ ренессанса русской культуры – Золотой, Серебряный и Бронзовый века.

СЛАВА ЛЁН

автор идеи,
составитель

ВАЛЕРИЙ МИШИН

составитель
(только тексты
из альманаха «АКТ»)

ТАМАРА БУКОВСКАЯ

редактор

Тексты печатаются
в авторской редакции

ISBN 978-5-9651-0690-5

© Авторы текстов, 2013
© Слава Лён, идея проекта, составление, 2013
© Валерий Мишин, дизайн, составление, 2013

Подписано в печать 24.11.2012.
Формат бумаги 84 × 90 1/2. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 11,20. Тираж 200 экз. Заказ 5571.
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
химического факультета СПбГУ.
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр. 26.

КВАЛИТИЗМ

ВИКТОР СОСНОРА

ИЗ КНИГИ «ЗНАКИ»
(1972)

ЛИТЕРАТУРНОЕ

Сверчок – не пел. Свеча-сердечко
не золотилось. Не дремал
камин. В камзолах не сидели
ни Оскар Вайльд, ни Дориан

у зеркала. Цвели татары
в тысячелетьях наших льдин.
Ходили ходики тиктаком,
как Гофман в детский ад ходил

с Флейтистом. (Крысы и младенцы!)
За плугом Лев не ползал по
Толстому. Было мало денег,
и я не пил с Эдгаром По,

который вороном не каркал...
А капля на моём стекле
изображала только каплю,
стекающую столько лет

с окна в социализм квартала
свинцовый. Ласточка-луна
так просто время коротала,
самоубийца ли она?

Мне совы ужасы свивали.
Я пил вне истины в вине.
Пел пёс не песьими словами,
не пудель Фауста и не

волчица Рима. Фаллос франка, –
выл Мопассан в ночи вовсю,
лежала с ляжками цыганка,
сплетённая по волоску

из Мериме. Не Дама, проще,
эмансипации раба,
устами уличных пророчиц
шумела баба из ребра

по телефону (мы расстались,
и я утрату утолил).
Так Гоголь к мертвецу-русалке
шёл – любил... потом творил.

Творю. Мой дом – не крепость, – хутор
в столице. Лорд, где ваша трость,
зронец-певец?.. И было худо.
Не шёл ни Каменный, ни гость

но мне. Над буквами-значками
с лицом, как Бог-Иуда – ниц,
с бесчувственнейшими зрачками
шёл. И не писал таблиц-

страниц. Я выключил электро-
светильник. К уху пятерню
спал Эпос, — этот эпилептик, —
как Достоевский — ПЕТЕРБУРГ.

ИЗ КНИГИ «ТРИДЦАТЬ СЕМЬ»
(1973)

Всё прошло. Так тихо на душе:
ни цветка, ни даже ветерка,
нет ни глаз моих и нет ушей,
сердце — твердым знаком вертикаль.

Потому причастья не прошу,
хлеба-соли. Оттанцован бал.
Этот эпос наш не я пишу.
Не шипит мой пенный бокал.

Хлебом вскормлен, солнцем осолён
майский мир. И самолётных стай
улетанье с гулом... о старо!
И ни просьб, ни правды, и — прощай.

Сами судьбы — страшные суды,
мы — две чайки в мареве морей.
Буду буква и знак звезды
небосклона памяти твоей.

Когда асфальт расставит розы
в белых снегах,
я выхожу на улицы мороза
с никем, с никак.

Я выхожу и вижу: девы в масках, —
фигурки тех,
египетских. Но пресный привкус мяса
в очах у дев.

Увлажнены у юношей все уши, —
в звездах орда!
Тверды театры. В перепонках лужи.
Ответ — октябрь.

И только сердце так висит, шатаясь,
как на суке.
В куда, вокруг за тридевять шагаю
с никак, с никем?

Я вас любил. Любовь ещё — быть может.
Но ей не быть.
Лишь конский топ на эхо нас помножит
да волчья сыть.

Ты кинь коня и волка приласкаешь...
Но ты — не та.

Плывет твой конь к тебе под парусами,
там — пустота.

Взовьётся в звон мой волк — с клыками мячик
к тебе, но ты
уходишь в дебри девочек и мачех
моей мечты.

Труднее жить, моя, бороться — проще,
я не борюсь.
Ударит колокол грозы, пророчеств, —
я не боюсь

ни смерти, ни твоей бессмертной славы, —
звезду возжечь!
Хоть коне-волк у смертницы-заставы,
хоть — в ад взлечь!

Проклятий — нет, и нежность — не поможет, —
я кровь ковал!
Я — вас любил. Любовь — ещё быть может...
Не вас, не к вам.

Я вышел в ночь (лунатик без балкона!).
Я вышел — только о тебе (прости!).
Мне незачем тебя будить и беспокоить.
Спит мир. Спишь ты. Спят горлицы и псы.

Лишь чей-то телевизор тенора
высвечивает. Золото снежится.
Я не спешу. Молений-телеграмм
не ждать. Спи, милая. Да спится.

Который час? Легла ли, не легла.
Одна ли, с кем-то, — у меня — такое!
Уже устал. Ты, ладно, не лгала.
И незачем тебя будить и беспокоить.

Ты посмотри (тебе не посмотреть!),
какая в мире муть и, скажем, слякоть.
И кислый дождь идёт с косой, как смерть.
Не плачу. Так. Как в камере. Как с кляпом.

Ночь обуяла небо (чудный час!).
Не наш. Расстались мы, теперь — растаем.
Я вышел — о тебе. Но что до нас
векам, истории и мирозданью?

В такие вот часы ни слова не сказать.
А скажешь — и зарукоплетут ложи.
А сердце просит капельку свинца.
Но ведь нельзя. А то есть — невозможно.

Не подадут и этот миллиграмм.
Где серебро моей последней пули?
О Господи, наверно, ты легла,
а я опять — паяц тебя и публик.

Мои секунды сердца (вы о чём?!).
Что вам мои элегии и стансы?
Бродяги бред пред вечностью отчёт —
опавшим лепестком под каблуками танца!

Нет сил у слов. Нудит один набат
не Бога – жарят жизнь тельцы без крови!
Я вышел вон. Прости. Я виноват.
И незачем тебя будить и беспокоить

было...

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕС

Мой лес, в котором столько роз
и ветер вьётся,
плывут кораблики стрекоз,
трепещут вёсла!

О, соловьиный перелив,
совиный хохот!..
Лишь человечки в лес пришли –
мой лес обобран.

Какой капели пестрота,
ковыль-травинки!
Мой лес – в поломанных крестах (перстах),
и ни тропинки.

Висели шишки на весу,
вы оборвали,
он сам отдался вам на суд –
вы обобрали.

Ещё храбрится и хранит
мои мгновенья,
мои хрусталики хвои,
мой муравейник.

Вверху по пропасти плывут
кружочки-звёзды.
И если позову «ау!» –
не отзовется.

Лишь знает птица Гамаюн
мой печали.
– Уйти? – Иди, – я говорю.
– Простить? – Прощаю.

Опять слова, слова, слова
уже узнали,
все целовать да целовать
уста устали.

Над кутерьмою тьма легла,
да и легла ли?
Не говори – любовь лгала,
мы сами лгали.

Ты, Родина, тебе молясь,
с тобой скитаясь,
ты – хуже мачехи, моя,
ты – тать святая!

Совсем не много надо нам,
увы, как мало!
Такая лунная луна
по всем каналам.

В лесу шумели комары,
о камарилья!
Не говори, не говори,
не говори мне!

Мой лес, в котором мёд и яд,
ежи, улитки,
в котором карлики и я
уже убиты.

Выхожу один я. Нет дороги.
Там – туман. Бессмертье не блестит.
Ночь, как ночь, – пустыня. Бред без Бога.
Ничего не чудится – без Ты.

Повторяю – ни в помине блеска.
Больно? Да. Но трудно ль? – Утром труд.
В небесах лишь пушкинские бесы.
Ничего мне нет – без Ты, без тут.

Жду – не жду – кому какое дело?
Жив – не жив – лишь совам хохотать.
(Эта птичка эхом пролетела.)
Ничего! – без Ты – без тут. Хоть так.

Нет утрат. Все проще – не могли мы
ни забыться, ни уснуть. Был – Бог!
Выхожу один я. До могилы
не дойти – темно и нет дорог.

Я оставил последнюю пулю себе.
Расстрелял, да не все. Да и то
эта пуля, закутанная в серебре, –
мой металл, мой талант, мой – дитё.

И чем дальше, тем, может быть, больше больней
это время на племя менять.
Ты не плачь над серебряной пулей моей,
мой не друг, мой не брат, мой – не мать.

Это будет так просто. У самых ресниц
клюнет клювик, – ау, миражи!
И не будет вас мучить без всяких границ
мой ни страх, мой ни бред, мой – ни жизнь.

ЭТОТ ЭПИЛОГ

Слушай! я говорю – горе! – себя кляня,
в тридцать седьмой год от рожденья меня

благодарю вас, что и в любви – была.
Смейся! мой смертный час – не бергла.

О пустяк! предоставь мне самому мой крах.
Я, прости, перестал в этой любви в веках.

Мантию не менял. Пусть постоянен трон:
эта любовь – моя, и не твоя, не тронь.

Минет моленье утр. Вы подарили раз
много-много минут. Благодарю вас.

Млечных морей слеза не просочится в миф.
Благодарю за – ваш, любимая, мир:

ваш – соломенный клад, плавающий на плаву,
ваш – без звезд и без клятв, ваш – лишь наяву,

ваш – вечный вертел, поровну – твердь и сушь,
ваша телесность тел, одушевленность душ.

Кто я? – паяц, бурлак, воин, монах, король? –
что вам! а боль – была. Благодарю боль.

На море вензеля. Песок утоптан, как воск.
Ваш, египтянка, взгляд, взлет ваших волос,

лунная леность лиц, ваших волос сирень,
рой ваших ресниц, или сердца секрет.

Над взморьем звезда Пса. О спите, судьбу моля,
чтоб в тридцать седьмой год – от рожденья меня

не опустить так – голову ниже плеч.
Боже – моя мечта! – но и мечта – меч.

Как золота земля, ходит в воде волна,
биться былинкой зла, шляться в венце вина,

волком звезде завять, смерть свою торопя,
плакать, тебя забыть и – не любить тебя!

Храни тебя, Христос, мой человек, –
мой целый век, ты тоже – он, один.
Не опускай своих солёных век,
ты, Человеческий невольник[®] Сын.

И сам с собою ночью наяву
ни воем и ничем не выдавай.
Пусть Сыну негде преклонить главу,
очнись и оглянись – на море май.

На море – мир. А миру – не до мук
твоих (и не до мужества!) – ничьих:
Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
на тетиве стрелу свою начни.

И верь – опять воспрянет тетива.
Стрела свершится, рассекая страх.
Коленопреклоненная трава
восстанет. А у роз на деревьях

распустятся, как девичьи, глаза.
А небо – необъятно вновь и вновь.
А нежная распутница – гроза
опять любовью окровавит кровь.
И ласточка, душа твоя тенет,
взовьётся, овевая красный крест.
И ласково прошепчет в тишине:
– Он умер (сам сказал!), а вот – воскрес.

ИЗ КНИГИ «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (1983)

МАРТОВСКИЕ ИДЫ

I

У дойных Муз есть евнухи у герм...
До полигамии в возраст не дошедши,
что ж бродишь, одиноких од гормон,
что демонам ты спати не даеши?
Ты, как миног, у волн на лов – гоним,
широк годами, иже дар не уже,
но гусем Рима, как рисунок гемм,
я полечу и почию, о дружбе.
Дай лишь перу гусиный ум, и гуни
уйдет с дороги Аппия до Роши,
где днем и ночью по стенам из глин
все ходит житель, жизнь ему дороже.
Все ходят, чистят меч, не скажут «да»
ни другу, не дадут шинель и вишню.

II

А между тем сойдут с удоем в ад,
живот – в ушко игольное я вижу!
Взор с ними – врозь! Бью розгой по устам,
летаще тело, преди песнь пояше,
мне б успокоиться, уйду в пустынь,
заброшу крылья за голову, спящий.
Не встану, осмотрюсь по сторонам,
ось матриц уст, в какие впишут списки?
Но днем и ночью ходят по стенам
могучим кругом, с пением и свистом.
Все сторожат! с ружьем весь жар земной,
чтоб не зажег елот о чепчик спичку.
– Стой, пост с тобой? – И пес, и пес со мной! –
и нож свистит у жен, как сивый, в спину.

III

Охрана храбрых! В руку – по ружью!
И лига лгуших... Чтоб не быть убиту,
на струнных я орудиях пою,
начальник хора – на слова у ид их!
Идеи марта!.. О, не пой про ту
сегодня, пятую луну, субботу, –
я б снял с педалей нотную пяду,
из улья тел я б улетел в свободу.
Здесь рой юродств, не Рим, не Петербург,
не выжмешь на уста из ста улыбку,
но днём и ночью группами с пурги
все ходят вместе и не сходят с улиц.
Шинель им дам и вишню в их бутылку,
снег с ног, пусть пьют с весной по лоб в колодце, –

IV

и март их ртам наполнит новым быль
о человеке, друге, полководце.
Во всей Москве – ни козы, ни закат,
ни то, ни се, и ус, как уд, ежовый.
На родине рояли не звенят,
и горя много, больше, чем в Европе. –

И что уж этот ужас и усы,
все – впереди, и по досье – наука,
на Красной башне в полночь бьют часы,
Иосиф Виссарионович, – ну, как Вам?
Теперь, куда ни плюнь, – и волк, и сед,
жор рож вокруг, живем ужасней казни.
Я Вас любил. Я был солдат в семь лет
в той русской и пятиконечной каске.

V

Вы взломщик касс и крестный крыс отец,
все рты мертвы, тюремны миллионы.
Но из Имен в Двадцатом Веке – кто?
«За Сталина!» – Вторая мировая.
Генералиссимус! Из вен и цифр
всех убиенных воинов – строка та.
Но если есть Истории Весы,
они запомнят залпы Сталинграда.
А претенденты – пойнтеры на свод
законов власти – так ль уж на диете?
Ведь грамота террора и свобод
известна тем и тем, и кто тут дети?
А те, кто врал, воруя мясо льва,
и в алкоголя пляске ножкой топал,

VI

их каменная тоже голова
стоит, в ней свижут ветры свалки трупов.
Как лёд кладбищ по марту – полубел,
о, сколько лбов над мертвыми поникли,
вот лужица пылает, как плюмбум,
в ней луковицу моют жены пьяниц.
Кто умер, женщина? Сквозь тело вой
твое, как будто роды у бурёнки.
Зачем лежишь ты, дева, с головой,
что тянешь песню – бечевою бурлацкой?
Я к женщинам неплохо отношусь,
в них пафос есть, и пьют – живым на зависть,
писатель Чехов, женских душ Антон,
их сестрами считал, да умер сам ведь.

VII

Не видите, как женских я у ног
в запретную вошел, безлюбый, область?
Я, говорящий из среды огня,
вы помните ли мой высокий образ?
В тот день морозный, в облаках, а шуб –
моря-меха, а в них краснеют рты тут,
я – голос весь, но отзвука у душ
не светится со щек со слезной ртутью.
В тот день недели вопреки рукам
не делайте из женщин изваяний,
их образ в мраморе – он не кумир,
не красьте рты, не жгите кровь из вен их.
Хоть рыба ходит в жизни ниже всех,
ее известность возбуждает зависть...

VIII

Жить без греха – вот самый гнусный грех
мужской. И тут кончаю мысли запись.

В день дунь на рудниках сержант с гвоздем
как век, кует, вбивает в яблок святость,
в день дам, их, пьющих на коленках дегть
в корытцах, как клинические свинки,
в день дур, войдя, рабочий брат-баран
сестру-овцу в заплыве с алкогольно
ударом в зубы вздует, как рабынь,
на жесь положит и зажжёт оглоблю...
Но женщина! – на жести вспомнит кос
мытьё... Вот: целомудрия ругатель,
я их жалею, пьющих из корытц,
где снимут с ног – хоть похоть б у рубях тех!

IX

Снег, как павлин в саду, – цветной, с хвостом,
с фонтанчиком и женскими глазами.
Рябиною синеет красный холм
Михайловский, – то замок с крышей гильзы!
Деревя-девушки по две в окнах,
душистых лип сосульки слез – годами.
На всех ветвях сидят, как на веках,
толстея, голубицы с голубями.
Их мрачен рот, они в саду как чернь,
лакеи злые, возрастом геронты,
свидетели с виденьями... Но речь
Истории – им выдвигает губы!
Михайловский готический коралл!
Здесь Стивенсон вскричал бы вслух: «Пиастры!»

X

Мальтийский шар, Лопухиной колер...
А снег идет в саду, простой и пёстрый.
Нет статуй. Лишь Иван Крылов, статист,
зверолюбив и в позе ревизора,
а в остальном сад свеж и золотист,
и скоро он стемнеет за решёткой.
Зажжется рядом невских волн узор;
как радуг ряд! Голов орлиных злато
уж оживет! И статуй струнный хор
руками нарисует свод заката,
и ход светил, и как они зажглись,
и пасмурный, вечерний рог горений!
Нет никого... И снег из-за кулис,
и снег идёт, не гаснет, дивный гений!

XI

Одиннадцать у немцев цифра эльф,
за нею цвельф, и дальше нету цифры,
час по лбу били, и убит был лев,
входили эльфы, выходили цвельфы.
С эльф-цвельфом в шаг и шапкой набекрень,
с шампанским в ртах, – бог боя, берегись сам! –
на новый дом, Михайловский дворец
ведут колонны Пален и Беннигсен.
Что ж Павел пал, бульдожий, одел
боящийся, убитый с кровью, силпый?..
Семей сто тысяч войск – на одного!..
Сын с ними, Александр? Узнаем, с ними ль.
Озер географических глаза –
как ожерелья дьявола, читатель!

XII

Царь-рыцарь! Но в рутине государств
не любят дисциплины, нету чести.
Ум новый, реформаторский — впросак,
спит сын убитого, убитый сыном.
Телега едет в ад на парусах,
о Гамлет, о враг Лондона, о крыса!
Друг Бонапарта, гордый!.. А лиса
в одном и том же доме — убедись сам! —
не спал, лежал под дверью Александр,
одет, с водами слез, отца убийца.
И ты, и трус, пусть немцы пьют мускат,
пусть денег в дно бьют карту лейб-гусары,
пусть Зубовы — три пса, три мясника, —
ах, Александр, что гомосексуален?

XIII

Все мальчиком по жизни, либерал,
со всеми кожа — светлая свинина...
А у бабули гусю кто любил
в семнадцать лет — семидесятилетню?
О век, о просвещенья семена,
без стука ходят в ход старухи нашей
все Зубовы, забавная семья,
их род тебе родим, ты внук ночной их.
Про то ж Платон, поэт любви, легат,
из грязи в графы, гренадер, сотрудник,
а кто любил, двуногий отрок лет —
семидесятиногую старуху?
То ржет, стреножен, жеребец малин,
как в ночь конюшен стресс цариц не минет...

XIV

И вот ОНА ему дает мильон —
на пуговицы! Женщина — Мужчине!
При всех!.. Кровать не стоишь убирать,
на коей в око бился Павел с веком,
уж коль идут убийцы убивать,
они убьют, не упрекай их в этом.
Смешны мы! Нет Италии в дому,
нет Борджиа, нет роскоши, разврат где?
Не ценят нас в Европе по уму,
а были — любо-дорого, размах-то! —
вот он лежит, убитый в лобну кость,
с той табакеркою в руке на теле...
А было это все в великий пост,
в тот понедельник той шестой недели.

XV

Я чуть причмокну — вы уж и на вид,
в двойной полет: стрелою в самолете...
Тень Цезаря меня усыновит
за Брута труп в пятнадцатом сонёте.
Он, осенью покончивший с собой
за двадцать три — в пах консулу удара,
и ты, Брут, свис, осиновый, с судьбой
не сбывшийся, в семье не без уroda.
Кем не воспетый, ты как дама пик,
у сцен, у солнца Цезаря питомец,

тираноборец, бил бы в грудь, но в пах... —
за всех завистник, эх, ты, пахотинец!
Как прутья, лягут Брутъя в тесноте,
в Сенате — рвутся в руслу, оборванцы...

XVI

Не те поля и ягоды не те,
меня не убивают обормоты.
А жаль! Пора б, мой друг карась, в гольфстрем,
а то я вплавь уеду ненароком...
Вот Павел: тоже было сорок семь,
как мне, а что я сделал для короны?
Ни то, ни се, поющий в пещь, в ковёр
закатанный, снег с них, Олег Российский...
Но этот снег уже не гром, не с гор,
не выше я, чем столп Александрийский.
Во дни торжеств мой колокол — дунь в динь,
сон в нос!.. В июле тоже будут иды,
июльские, — то Лермонтова день,
читай: числом пятнадцатым убитый.

XVII

Что иды людям, им? Что иды — есть?
Нет никому монет лимонных в доме,
овцу, невиннейшую из существ
Юпитеру — нож тепл ещё! — даём мы.
Спасибо же, что жизнь морквы и льна
мирна, а иды — каждый месяц образ:
число пятнадцать, полная луна, —
март, май, июль, октябрь, — когда есть овцы.
Но март — особый, первозвук у ид,
концерт кошачий, бег у Бонапарта,
и Цезарь был, и Павел был убит,
и Гоголь лёг и умер в раме марта.
А русский рокот, умный муж, Перун,
грозный в груди Митя Карамазов?

XVIII

Мне грустно, Грозный! Что ж ты приуныл,
писатель, шахматист и композитор?
Сын томных сил, волк слюнный, скарабей,
крот роковой, вёршащий век на имя:
«Ждал я, кто б со мною поскорбел,
и никого нет, утешающих мя
я не сыскал!» — вот жалоба сырой
души, не отдыхающей от театра.
«Но, взяв Казань, казанской сиротой
стал я, а не они, а не татары.
Не плачьте об убитых мясниках,
о сыновьях, о бабах в юбках тусклых,
я — светлоглазый гений-музыкант
в стране сатурналистов и тунгусов.

XIX

Я длинноус, и скотен я умом,
мой рот раскрыт на дело ед и блуда,
я чресла чрезъестественным грехом
отяготил — мужчин и женщин дубль я.
Талантлив, тать, актер, я ослеплял
истерикой — людей всегдашних раций.

Не Троцкий, это я осуществлял
идеи перманентных революций.
Смешны Европы гуманизм и дурь,
у зверств России – автор всех поэм я,
поставили на пламя Жанну д'Арк –
вынь да положь мне девушку на племя!
Я сокол, колос – я, я – их союз,
я – гость у гроз железный, я – ребёнок!»

XX

У нас в России всё – взаим и связь:
вот умер Грозный и родился Гоголь.
На дне, на днях, сошед с ума горы,
как лошадь, вышел я во власть сюжета.
Такси плывут, как тусклые гробы,
на козлах кучер Селифан, – сидит он.
Как итальянец! Головной убор
надет на око, вензель гедонизма,
я постучу ему в стекло: «У, раб!
О, рыло неумытое, – гони же!»
А он мне: «Коням, барин, мыла нет,
не то что русским. Рыло ж – роль такая».
Такси плывут по трое – их мильон,
в них Гоголь Николай лежит, такой он.

XXI

На вид – как на диване финансист,
идей в нем римско-русских монолиты,
жук, живописец, физиогномист,
его лицо – с портрета Моны Лизы.
Гуся перо в его родной руке,
счет с числ у душ – мы оптом за поэму,
при нем бухгалтер, наш и страшный – царь,
не Николай? не помню я, не помню.
На жизнь тяжел я, друг мой, ало-конь,
я в смерти сон смотрю, как ленту-кино,
в мечтах я тоже, может, Николай,
не тот, не тёзка, а иной и некий.
Но надо мною, друг мой, месяц сиз,
народ-лунатик – ломовой, безмолвный.

XXII

Не в чашах счастье... Те ж, кто любит жизнь,
у них свой счет с ней, со своей, любимой.
И ходят, дохнут люди от костей,
не поддаются жизни и нажиму.
Египет, гнев, железный твой костер
двадцать второго марта – ненавижу!
Мне ум у ям, где бедность, где бодрей,
встаю, в живот пою оригиналом,
красавица свистит из-под бровей
мне ртом – как огнедышащим орудьем!
Мне Летний сад – как леденящий крик,
жизнь – козлоплис в нечеловечьей маске,
вот выются в листьях воронессы в круг,
как в юность Лизы баронессы в Мойке.

XXIII

Я вспать пишу, что у числа кассандр
костер я крашу, ум у фактум греясь:

кем был убит вторичный Александр,
свобод водитель и пифагореец?
Сынами масс, кого пустил в супы
вороньи, и в слободки же вороньи,
у тех у вод утоплены серпы,
слизняк – Царя убьет консервной бомбой, –
шик пошлости!.. Цыганка на восьмой
гадала, на восьмой его взорвали
студиусы, вошедши в секс весной,
в прыщах, с челом, что влюбчиво во взоре.
По-римски сроком мартовских календ,
по-русски – первомартовцем убитый,

XXIV

Конец канала занял Александр,
стоит собором, как звездой умытой.
Стоял бы! Но в соборе живоглот,
искусствовед Хорь Лампов, росс, ровесник
за ветвь мясную в животе живет,
червь равенства, враг веры – реставратор,
алкаш в щеках, как шелковых, – тот тип,
в Дому Всех Мертвых он – своя фигура,
где реки в руки им текут, как ртуть,
о, стадо старцев, о, карикатура!
В другом конце канала – Книги Дом,
как мамонта нога, трехгранник с шаром,
два Михаила, ранний их огонь,
и сад колонн – как римские муляжи.

XXV

За то, что царь – народ, а не ровня,
в них Вий из дула выстрелит. Подумай,
как царь, стрелявший в Бога в январе,
через тринадцать лет получит пулю.
А времена – в ремонт, и тот арап
не тот уж, он свободен полной грудью,
мы – труженики трона и пера,
а свиреем мыслями друг к другу.
Все давим новый вид людей, ту суть,
завернутую в завтра, как в махорку.
В котле у рыб нам бы войти в союз,
а мы враждуем, к времени с упреком.
Цари! Я обращаюсь за алмаз,
что уценен из сумм с берегов Игарки.

XXVI

Вас меньше, чем поэтов, на земле,
я вас впишу в страницы Красной книги.
Я помню тот исконно-русский март,
что Льва повел туда, где грабил Гришка,
как по любви идут из дома в ад,
где слава Хлоя и держава Мнишка.
Чем русский хуже звук – немецких псов?
История мне русская близка так,
ей до меня и не было певцов,
их многих рано били о бульжник.
В порочный рок я вышел на паркет,
лежало тело энно. И дружка ли?
Все говорили: где убит поэт,
там будет царь убит (уж доказали).

XXVII

Кто на кладбище луковицу мыл
в год укоризн и тризн о Буонапарте,
тот знает все: убил или не убил
и Микеланджело Буонарrotти.
За справками о нем – поэт А. Вось,
он с Циолковским форм у века – нунций,
но я о том, как столько в лютию весь
Джорджоне, юноша, венецианец.
Как в пир чумы он вышел на канал
в летящей лодке, с той, не жуть, не шутки,
как, женский гений, губы целовал,
и как погиб! Как отозвался Пушкин!
Теперь не любят так уж в тридцать три,
рок чисел позабыт, не в роль, Лаура!

XXVIII

Как бросил кисть геометру, смотри:
пятнадцатиапрельский Леонардо!
Все совпадет: двадцать восьмой сюжет
в четыре, семь и восемь, три – возвысим! –
в год тыща девятьсот тридцать шестой
и я рожден апрелем – в двадцать восемь.
Круг ходит по кругам! Под солнцем гол,
народ теней рождает вновь капусту,
а у часов – веселых листьев ход
в историю ступеней и уступок.
Где чести числа делают лицо
железных женщин с признаком таланта,
на Красной башне в помощь бьют яйцо,
и новых вынимают из тулуца.

XXIX

Морская ночь!.. То цапли роц от сил
поют священных языком целебным.
Из рыбьей чешуи, как из листвы,
сквозь зубы лают красные лисицы.
Два ворона режут и в горла два
(своей поэмы предыдущей – вор я).
Певец, певец! Мужская голова
качается в волнах, как и воронья.
Возник и звонок стих! И я там был,
я пил из лап у медведей соленья,
не вы навьлет, это я бежал
годами лыж – бродяга с Сахалина.
Звериною тропой глухой петли,
раз Бог – разбойник, то на всю Сибирь я:

XXX

«Бродяга хочет отдохнуть в пути,
укрой, укрой его, земля сырая!
Цинга ты скотная, нога да лом,
дорога давняя, быть может – жиже,
тюрьма центральная, как в зоне дом,
меня, нечетного, по новой ждет же!
А месяц в небе светится, как спирт,
иду я вдоль по улице, собака,
любовь – наука стимула! – стоит,
ах, зря ворчит с хвостом из-за барака!

Мне мир ночей ничем не отомкнуть,
на веко положу себе полтины,
бродяга очень хочет отдохнуть,
уж больно много резали в пути-то».

XXXI

Но до свиданья, друг мой, Дон – вода,
волна бежит и, набега, вьётся.
На степь беда – и настезь ворота,
уж пуля в дуле револьвера бьётся.
По всей стране читательской в тот раз
лимитом книги – русским руки свяжут.
Возьмет Дубно у будетлян Тарас,
а на кола аллаху лях, – скажу я.
Мы в до свиданья снегу! – в Рим, сюда
летай, как Гоголь, зрелый, заперщён же,
но рвутся сабли в книгах, как сердца,
ломаются, – и это Запорожье
взаправдашнее... Сын зовет Отца,
а весь миллион народа и не вздрогнул.